



## В. А. ЖУКОВСКИЙ

### О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю

Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею книгою: я был занят *прикреплением* к бумаге некоторых мыслей, которые бродили в голове при чтении твоей статьи *о том, что такое слово*; твое письмо пришло кстати: оно дополняет печатную статью — а написанное мною на твое рассуждение о важности слова будет в то же время и ответом на письмо твое.

Стихи Державина:

За слова меня пусть гложет,  
За дела сатирик чтит<sup>1</sup>,

служащие, так сказать, темою твоей статьи, не имеют, по моему мнению, никакого ясного смысла: ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями; и самолюбие поэта, оскорбленное критикою, не утешится, когда он сам себе или его аристарх ему скажет: *ты негодный поэт, но человек почтенный*.

Но то, что сказал Пушкин о стихах Державина, весьма значительно — оно будет теперь главным предметом моей с тобою беседы. Прошу, однако, не пугаться, ибо я намерен, как говорится, начать с *яиц Леды*; хочу длинным обходом прийти с тобою к выражению Пушкина: *слова поэта суть уже дела его*<sup>2</sup>.

Не имея возможности постигнуть существа духовного в нем самом и выразить материальным словом его неразделимости, его единства, мы дробим нашу душу на разные способности, делим ее, так сказать, на участки и к каждому из них приписываем особенную, отдельную ее способность. Говоря о *теле*, мы можем определенно означать и все его определенно в нем действующие члены; мы говорим: *голова, глаза, рука, нога* и прочее; но говоря: *ум, воля* и тому подобное, мы разными

именами означаем одно и то же, то есть *всю душу*, в разных только образах ее действия; нет такой особенной части в душе, которая была бы только *ум* или *воля*, все это — вся душа, полная, всегда неразделимо действующая. Мы только для ясности принуждены прибегнуть к раздроблению единства на части. Душа *мыслит, избирает* (то есть отвергает или принимает), *творит, верует*; сии разные образы действия одной и той же души мы называем: *ум, воля, творчество, вера*.

*Ум* (говоря языком обыкновенным, то есть раздробляя наше духовное единство на способности отдельные) есть самая низшая, но в то же время и самая многообъемлющая, основная, все действия других способностей проникающая и определяющая способность души нашей. Он действует в пределах материального мира, определяет форму, измеряет движение, из вещественных форм извлекает понятия общие и из движения закон (то есть из того, что *всегда* бывает, то, что *всегда должно быть*), из неизменяющегося неизменное. Я назвал ум *низшею* способностью души потому, что он совершенно подчинен закону необходимости: первый пункт (*le point de départ*), передовое положение (*Vordersatz*) могут некоторым образом быть избраны произвольно; произвольность может быть и в более или менее упорном пребывании на избранном пути, но самый этот путь (то есть весь ход ума, все сцепление выводов с их необходимым результатом) от ума независим — путь ума есть путь по железной дороге: здесь свободен только выбор места в вагоне, то есть выбор пункта отбытия; все остальное повинуется железной силе релей, раз скованных и к земле навсегда прикрепленных. Мы быстро и, по видимому, произвольно движемся вперед; но эта произвольность мнимая: мы не властны ни переменить движения, ни управлять им; самая сила влекущего нас паровоза есть только сила, а не власть, и беда, если она хоть на миг покинет направление, в начале пути ею полученное. Во-вторых, наш ум есть способность низшая и потому, что он ничего из самого себя не извлекает, что все его создания, сколь ни кажутся они самобытными, извлечены из внешнего, вещественного мира, суть, так сказать, умственное потомство материальности в первом, десятом, двадцатом колене. *Воля* стоит степенью выше ума: она *свободна*; но объем ее действий гораздо ограниченнее: она только избирает или отвергает, руководствуясь законом нравственным (которого постижение и определение есть дело ума), но руководствуясь самобытно, то есть имея власть решить *согласно* или *несогласно* с сим законом. Она выражается в наших *действиях*, и ею только получаем мы характер существ нравственных. Третья способность души, *творчество*, потому должна быть поставлена степенью выше ума и воли, что ее действия не следуют никакому чуждому побуждению, а непосредственно из души истекают — в ней наиболее выражается божественность происхождения души человеческой,

которого признак есть сие стремление творить из себя, себя выражать в своем создании, без всякого постороннего повода, по одному только вдохновению, которое не есть ни ум, ни воля, но и то и другое, соединенное с чем-то самобытным, так сказать, свыше, без ведома нашего, на нас налетающим, другому высшему порядку принадлежащим. Наконец *вера*, то есть способность принимать божественное откровение. Она есть самобытнейшая способность души человеческой: здесь наш ум смиряется, воля властвует без произвола, творчество приобретает характер созерцания, словом, все сливается в одно, в веру, в свободное предание души непосредственно открывающемуся ей Богу.

Теперь мы дошли до крайней точки нашего обхода и можем, возвратясь назад, сказать что-нибудь путное о выражении Пушкина: *слова поэта суть уже его дела*. Для этого надобно, однако, еще предварительно объяснить: что такое *дела* поэта, что такое *поэт* или художник, что есть *художество* и где его *источник*?

Я позволяю себе здесь повторить то, что было мною сказано в другом месте: «Руссо говорит: Il n'y a de beau que ce qui n'est pas — *прекрасно только то, чего нет*. Это не значит: *только то, что не существует*; прекрасное существует, но его *нет*, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить, обновить душу — но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем; оно не имеет ни имени, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жизни — величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой, очарование счастья, вдохновение несчастья и проч. производят в нас сии живые ощущения прекрасного, и весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ним грусть — но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление: это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности. *Прекрасно только то, чего нет*, — в эти минуты тревожно-живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и чего в нем нет, но что где-то, и для одной души твоей, существует. И это стремление есть одно из невыразимых доказательств бессмертия: иначе отчего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет! эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимо пролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, темная память о утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме; оно действует на нашу душу не одним присутственным *настоящим*, но и неясным, в одно мгновение слившимся *воспоминанием* всего прекрасного в прошедшем и тайным *ожиданием* лучшего в будущем.

А когда нас покидает,  
В дар любви у нас в виду  
В нашем небе зажигает  
Он (гений красоты) прощальную звезду<sup>3</sup>.

Эта прощальная, навсегда остающаяся в нашем небе звезда есть знак, что прекрасное было в нашей жизни, и вместе знак, что оно не к нашей жизни принадлежит! Звезда на темном небе — она не сойдет на землю, но утешительно сияет нам издали и некоторым образом сближает нас с тем небом, с которого неподвижно нам светит! Жизнь наша есть, так сказать, ночь под звездным небом, — наша душа в минуты вдохновенные открывает новые звезды; эти звезды не дают и не должны давать нам полного света, по, украшая наше небо, знакомя с ним, служат в то же время и путеводителями по земле!»<sup>4</sup>

Это прекрасное, которого нет в окружающем нас вещественном мире, но которое в нем находит душа наша, пробуждает ее творческую силу. Душа беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзвук создания? Не голос ли самого создателя? Все мелкие, разрозненные части видимого мира сливаются в одно гармоническое целое, в один, сам по себе несущественный, но ясно душою нашей видимый образ. Что же этот несущественный образ? Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в создании. И в ней, истекшей от Бога, живет стремление творить по образу и подобию творца своего, то есть влагать самое себя в свое создание. Но создатель всего извлек это все из самого себя: небытие стало бытием. Человек не может творить из ничего; он только может своими, *заимствованными из создания средствами* повторять то, что Бог создал своею всемогущею волею. Сей произвольный акт творения есть возвышенная жизнь души; целью его может быть не иное что, как осуществление того прекрасного, которого *тайну* душа открывает в творении Бога и которое стремится явно выразить в творении собственном. Сие ощущение и выражение прекрасного, сие пересоздание своими средствами создания Божия есть *художество*. Что же такое *художник*? Творец; и цель его не иное что, как самое это *творение*, свободное, вдохновенное, ни с каким посторонним видом не соединенное. В чем состоит *акт творения*? В осуществлении идеи творца. Верховный художник в самом себе почерпнул и идею и материал создания; земной художник, творя, так же осуществляет свою идею, но материалы и для самой идеи, и для ее осуществления он заимствует уже из существующего, ему подлежащего творения Божия; творит же он потому, что по натуре души своей ощущает в себе к тому неодолимое, врожденное стремление. Какие его способы и материалы? Способы: *художество* в разных видах, поэзия, живопись, музыка,

ваяние; его материалы: слово, краска, согласие звуков, твердая масса. Самое высшее из произведений художества есть то, когда художник выражает не только собственную идею, но в своей идее и самого верховного творца; самое низшее то, когда он с рабскою точностью повторяет видимое творение; между сими двумя крайностями оттенки бесчисленны, начиная от сходного во всех подробностях изображения насекомого до вдохновенного изображения Троицы. *Красота* художественного произведения состоит в истине выражения, то есть в ясности идеи и в ее гармоническом согласии с материальным художественным ее *образом*, который с своей стороны должен быть согласен с *образцом*, заимствованным из создания внешнего. Художество в тесном смысле довольствуется только этою относительною истиной; но художество в обширном, высшем значении имеет предметом красоту высшую. Переводя на свое второбытное создание то, что он находит вокруг себя в создании первобытном, художник, повторяю, должен выражать не одну собственную, человеческую идею, не одну свою душу, но в ней и идею создателя, дух божий, все созданное проникающий.

Оставив все прочие художества в стороне, обратимся теперь к тому, которого материал есть *слово* и которое между всеми должно занимать высшую степень, ибо оно непосредственнее всех их из души истекает — к поэзии; материалы других заимствуются извне, материал поэта *слово* (образ, тело идеи) прямо из души переходит в форму материальную; прибавлю: все другие художества не иное что, как поэзия в разных видах.

Итак, *слово*. Основываясь на том, что сказано выше о художнике и художестве, мы должны согласиться, что выражение Пушкина: *слова поэта суть уже его дела* включает в себе смысл глубокий. Так: слова поэта — дела поэта. Не принадлежа к разряду дел, заключающихся в тесном кругу ежедневного, они могут быть рассматриваемы и в смысле художественного произведения (более тесном), и в смысле самого художника (более обширном). В первом отношении, если художественные произведения удовлетворяют всем требованиям искусства, то художник прав: он совершил свое дело, произведя прекрасное, которое одно есть предмет художества. В другом, обширнейшем смысле дела художника относятся не к одному его произведению, но к его особенному высшему призванию.

Обыкновенно, рассуждая о художествах, оставляют в стороне художника, и творца рознят с творением. Можно ли допускать или оправдывать такой разрыв, не знаю — по крайней мере не в теории, определяющей не то, что *может* быть и бывает, а то, что всегда *должно* быть. Поэт творит *словом*, и это творческое слово, вызванное вдохновением из идеи, могущественно владевшей душою поэта, стремительно переходя в другую душу, производит в ней такое же вдохновение и ее



также могущественно объемлет; это действие не есть ни умственное, ни нравственное — оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного; это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу обхватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника.

Если таково действие поэзии — то сила производить его, данная поэту, должна быть не иное что, как призвание от Бога, есть, так сказать, вызов от создателя вступить с ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение: поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара, который в то же время есть и страшное искушение, ибо в сей силе для полета высокого заключается и опасность падения глубокого.

Вопрос: исполнит ли поэт свое призвание, если, живя с откровенными очами среди чудес творения, будет иметь предметом одну только роскошь этой внутренней поэтической жизни и то несказанное самонаслаждение, которое вполне объемлет и удовлетворяет душу в те минуты, когда она горит вдохновением творчества? Исполнит ли поэт свое призвание, когда, с одной стороны, будет иметь в виду одно только художественное совершенство произведений своих, а с другой — только успех, т. е. гордое самоубеждение в своем превосходстве и чародейную сладость хвалы и славы? Есть что-то чувственное, что-то унижительное, есть и какое-то эгоистическое сибаритство в этом самобоготворении, в этой оргии самолюбия, в этом упоении самонаслаждения, которое в своих действиях так же губительно для души, как пьянство для силы телесной.

Спросят: кто же из поэтов вполне осуществил идеал поэта? Ответ самый простой: никто. Еще ни один ангел не сходил с неба играть перед людьми на лире и печатать свои стихотворения у Дидота или Глазунова<sup>5</sup>. Но здесь главное не в достижении, а в стремлении достигнуть. В произведениях художества мы наслаждаемся красотой создания, прелестью частей, гармониею целого и тому подобное, но все это есть одна низшая, так сказать, материальная сторона нашего наслаждения: мы можем дать себе *отчет* в том, что нас увлекает, можем указать на возвышенность или приятность содержания, на точность, живость, необыкновенность выражения, на музыку слов; но то, что *безотчетно* и неуловимо и что, однако, всему этому дает жизнь, это есть *дух поэта*,

в создании его тайно сопричастный! И если он есть дух чистоты, если художественное создание (какой бы, впрочем, ни был предмет его) проникнуто им так же, как образец его, божие создание, духом создателя, то и действие его (*дело* поэта, заключенное в его *слове*) будет благодатно, как действие неизглаголанного мироздания на душу, отверстую его святине. Не в том, что составляет содержание поэтического произведения, заключается его нравственно-образовательное на нас влияние, а в том, что есть сам поэт (сколько бы, повторяю, его личность ни далека была от избранного им предмета): увлекаемые прелестью его создания, мы нечувствительно проникаемся его верою, его любовью, его возвышенностью и чистотою, и они по тайному сродству остаются в слиянии с нами, как последний результат поэтического наслаждения.

Что же, спросят, неужели поэт должен ограничиться одними гимнами Богу и всякое другое поэтическое создание считать за грех против божества и человечества? Ответ простой: не произноси имени Бога, но знай его, верь ему, иди к нему, веди к нему, — тогда что бы ни встретилось на пути твоём откровенному оку и что бы ни было это встреченное — высокое или мелкое, прекрасное или безобразное, многозначщее или легкое, забавное или мрачное, — все оно, прошед через твою душу, приобретает ее характер, не изменив в то же время и собственного. Поэт в выборе предмета не подвержен никакому обязующему направлению. Поэзия живет свободою; утратив непринужденность (похожую часто на причудливость и своеволие), она теряет прелесть; всякое *намерение* произвести то или другое определенное, постороннее действие, нравственное, поучительное или (как нынче мода) политическое, дает движениям фантазии какую-то неповоротливость и неловкость — тогда как она должна легкокрылой ласточкою, с криками радости, летать между небом и землею, все посещать климаты и уносить за собою нашу душу в этот чистый эфир высоты, на освежительную, беззаботную прогулку по всему поднебесью.

Но поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вложено тайно, безнамеренно и даже противунамеренно и в его создание: что *он сам*, то будет и его создание. Если он чист, то и мы не осквернимся, какие бы образы, нечистые или чудовищные, ни представлял он нам как художник; но и самое святое подействует на нас как отравка, когда оно нам выльется из сосуда души отравленной. С благодарностию сердца укажу на нашего современника Вальтера Скотта. Поэт в прямом значении сего звания — он будет жить во все времена благодетелем души человеческой. Какой разнообразный мир обхвачен его гением! Он до всего коснулся, от самого низкого и безобразного до самого возвышенного и божественного, и все изобразил с простодушною верностию,

нигде не нарушил с намерением истины, нигде не оскорбил красоты, во всем удовлетворил требованиям искусства. Но посреди этого очарованного мира самое очаровательное есть он сам — его светлая, чистая, младенчески верующая душа; ее присутствие разлито в его творениях, как воздух на высотах горных, где дышится так легко, освежительно и целебно. Его поэзии предаешься без всякой тревоги, с ним вместе веруешь святому, любишь добро, постигаешь красоту и знаешь, какое назначение души твоей; он представляет тебе во всей наготе и зло и разврат, но ты ими не заражаешься, с тобою сквозь толпу очумленную идет проводник, заразе ее недоступный и тебя сопутствием своим берегущий. Цель художественного произведения достигнута: ты был поражен, приведен в ужас, смеялся, плакал, — словом: ты наслаждался красотой создания поэтического; но в то же время душа твоя проникнута довольством другого рода: она вполне спокойна, как будто более утвержденная в том, что все ее лучшее верно. С такою же благодарностию сердца укажу на Карамзина, которого непорочная душа прошла по земле как ангел света и от которого осталось отечеству, в созданной им его Истории, вечное завещание на веру в Бога, на любовь ко благу и правде, на благоговение пред всем высоким и прекрасным.

С другой стороны, обратим взор на Байрона — дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения. Его гений имеет прелесть Мильтонова сатаны<sup>6</sup>, столь поражающего своим помраченным величием: но у Мильтона эта прелесть не иное что, как поэтический образ, только увеселяющий воображение; а в Байроне она есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон, сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, его гений все имеет высоту необычайную (может быть, оттого еще и губительнее сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти, — перед нами титан Прометей, прикованный к скале Кавказа и гордо клянувшийся Зевеса, которого коршун рвет его внутренность.

Но что сказать о... (я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобою угадан в моем изображении), что сказать об этом хулителе всякой святости, которой откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе!<sup>7</sup> Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего Бога, это не падший ангел света, в упоении гордости отрицающий то, что знает и чему не может не верить, — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного и развратного, это полное отсутствие чистоты, нахальное ругательство



над поэтической красотой и даже над собственным дарованием ее угадывать и выражать словом, это презрение всякой святости и циническое, бесстыдно-дерзкое противу нее богохульство, дабы, оскорбив всех, кому она драгоценна, угодить всем поклонникам разврата, это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувственности, на разнуздание всех страстей, на отрицание всякой власти, — это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлом, чтобы прелестью красоты заманить нас в свою грязную бездну. Не пронося анафемы над человеком, нельзя не предать проклятию такого злоупотребления лучших даров создателя. Сколько непорочных душ растлила эта демоническая поэзия, обезобразившая перед ними божий лик, напечатленный в творении, и загрязнившая в самом источнике жизнь их, предав ее одной грубой чувственности.

Из всего сказанного выше легко определить, что такое *дело* поэта, — как в тесном, так и в обширном его значении. С одной стороны, то есть в тесном смысле *художественного произведения*, оно состоит в одном *исполнении*, более или менее совершенном, *условий искусства*; с другой, то есть в обширном смысле самого *художества*, оно включает в себе и *действие*, производимое духом поэта. Подтверждая здесь то, что так прекрасно и справедливо сказал ты в письме своем, назвав искусство *примирением с жизнью*, спрашиваю: поэзия в наше время соответствует ли этому определению? Нет! Поэзия нашего времени имеет и весь его характер — характер вулканической разрушительности в *корифеех* и материальной плоскости в их *последователях*. Уже нет той поэзии, которая некогда была возвеличением, убранством и утехой жизни, которая, с одной стороны, стремилась душу к высокому, идеальному и благородствовала жизнь, украшая ее строгую, часто печальную сущность лилейным венком надежды, а с другой — беззаботно играла с жизнью, забавляя ее, как младенца, фантастическими созданиями, светлыми видениями, подобными в красоте своей минутным цветам луга, радующим взор и претворяющим в благовоние воздух. Такое беззаботное наслаждение поэзией теперь называется ребячеством. Меланхолическая разочарованность Байрона, столь очаровательная в его изображениях и столь пленяющая глубокою (хотя иногда и вымышленною) грустью поэта, — истощившись в приторных подражаниях, — уступила место равнодушию, которое уже не презрение и не богохульный бунт гордости (в них есть еще что-то поэтическое, потому что есть сила), а пошлая расслабленность души, произведенная не бурей страстей и не бедствиями жизни, а просто неспособностью верить, любить, постигать высокое, неспособностью предаваться какому бы то ни было очарованию. Это самодельное равнодушие, которым так кокетствуют в наше время поэты, относится к мрачной разочарован-

ности Байрона как мелкая, искусственная развалина небывалого замка к огромным обломкам Колизея, сокрушенного силою веков, набегами народов и молниями неба. Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище своего храма (к которому доступ бывал отворен одним только посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на ней партиям.

Не должно ли, смотря с унынием и тревогою на то, что кругом нас происходит, терять веру в поэзию и в ее великое земное назначение? Нет! и посреди судорог нашего времени, не заботясь о славе, ныне уже нежеланной и даже невозможной (поелику она раздается всем и каждому, на площади, подкупными судьями в отрепьях), не думая о корысти, которая всех очумила, поэт, верный своему призванию, скрываясь от толпы, исповедует своему гению:

Не счастья, не славы здесь  
Ищу я — быть хочу крылом могучим,  
Подъемлющим родные мне сердца  
На высоту, — зарей, победу дня  
Предвозвещающей, великих дум  
Воспламенителем, глаголом правды,  
Лекарством душ, безверием крушимых,  
И сторожем нетленной той завесы,  
Которою пред нами горний мир  
Задернут, чтоб порой для смертных глаз  
Ее приподымать и святость жизни  
Являть во всей красе ее небесной, —  
Вот долг поэта, вот мое призванье!<sup>8</sup>

Он не впадает в разочарованность, видя, как торжествуют разочарователи; он думает про себя:

Что мне до них,  
Бесчувственных жильцов земли иль дерзких  
Губителей всего святого! Мне  
Они чужие. Для чего творец  
Такой им жалкий жребий избрал, это  
Известно одному ему; он благ  
И справедлив; обителей есть много  
В дому отца — всем будет воздаянье.  
Но для чего сюда он их послал, —  
О, это мне понятно. Здесь без них  
Была ли бы для душ, покорных Богу,

Возможна та святая брань, в которой  
Мы на земле для неба созреваем?  
Мы не за тем ли здесь, чтобы средь тяжких  
Скорбей, гонений, видя торжество  
Порока, силу зла и слыша хохот  
Бесстыдного разврата иль насмешку  
Безверия, из этой бездны вынести  
В душе неоскверненной веру в Бога?..  
Поэзия религии небесной  
Сестра земная, светлоручезарный  
Маяк, самым создателем зажженный,  
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились  
С пути. Поэт, на пламени его  
Свой факел зажигай! Твои все братья  
С тобою заодно засветят каждый  
Хранительный свой огонь, и будут здесь  
Они во всех странах и временах  
Для всех племен звездами путевыми;  
При блеске их, чтоб труженик земной  
Ни испытал, — душой он не падет,  
И вера в лучшее в нем не погибнет.  
И пусть разрушено земное счастье,  
Обмануты ласкавшие надежды  
И чистые обруганы мечты...  
Об них ли сетовать? Таков удел  
Всего, всего прекрасного земного!..  
Но не умрет живая песнь твоя;  
Во всех веках и поколениях будут  
Ей отвечать возвышенные души...  
Поэт, будь тверд! душою не дремли!  
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

*29 января 1848*

*Франкфурт-на-Майне*

